

<https://web.archive.org/web/20260114063136/https://www.chayka.org/node/4802>

Мессерер А. Незабываемая встреча с Тимофеевым-Ресовским – 6.07.12 // Чайка (Seagull magazine): американский интернет-журнал на рус. яз. – 2012. № 14 (217), 16 июля. – URL: <https://web.archive.org/web/20260114063136/https://www.chayka.org/node/4802> (сайт журнала <https://www.chayka.org/node/4802> в архиве) (дата обращения: 17.02.26).

16 июля 2012 г.



ЧАЙКА
SEAGULL MAGAZINE

Издается с 2001 года



Незабываемая встреча с Тимофеевым-Ресовским

Опубликовано: 16 июля 2012 г.



Азарий Мессерер

Нью-Йорк, США

Номер 14 (217)

Рубрики:

Мемуары

Люди и время

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА С ТИМОФЕЕВЫМ-РЕСОВСКИМ

Мессерер Азарий

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский



Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский

Американские школьники с первых классов начальной школы знают об Уильяме Коди по кличке Buffalo Bill — Бизон Билл. В его честь назван город в штате Вайоминг, сняты десятки фильмов и написано множество романов — о его приключениях на войне с индейцами, путешествиях по Дикому Западу и о гастролях его прославленного театра в Америке и Европе. У меня, однако, каждое упоминание Бизона Билла невольно отзывается в голове русским «Зубр Тим» — именно так называли великого учёного Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского его ученики и

последователи. Иногда, впрочем, просто ЭнВе, по инициалам, что я охотно позаимствую для своего рассказа.

Заявлять, что нет кумиров в отечестве своем, проще простого, а все же странно, что и по сию пору в России нет ни города, носящего его имя, ни художественного фильма о его жизни,

полной драматических, подчас трагических поворотов. И что ж удивляться тому, что среди нынешней молодежи мало кто о нем знает, несмотря на посвященные ему хорошие документальные фильмы Елены Саканян, а также ряд мемуарных книг и прекрасную документальную повесть Даниила Гранина «Зубр». Написанная на основании личных встреч автора с Тимофеевым-Ресовским и любительских магнитофонных записей, сделанных его учениками на лекциях или во время непринужденных бесед у костра, она в 1987 году, в самом начале перестройки, произвела настоящую сенсацию.

А вот провести самое первое интервью с ним для радио, причем в записи высокого качества, которая могла бы стать уникальным дополнением к его архиву, — это посчастливилось сделать мне.

Встретился я с ЭнВе по воле случая, почти полвека назад в пресловутом Доме Дружбы на Арбате. Незадолго до того, в декабре 1964 года, скончался выдающийся английский биохимик и генетик Джон Бёрдон Холдейн, вечер памяти которого я должен был освещать для английских слушателей Московского радио. Над эстрадой висел его портрет — улыбающийся англичанин, с усиками и трубкой в зубах, а с кафедры читались дежурные речи о его вкладе в развитие советско-британских научных связей. Потом уже я узнал, что Холдейн был активным коммунистом, многократно приезжавшим в СССР, а в конце 1940-х годов демонстративно из партии вышел, узнав об аресте и гибели высоко чтимого им Николая Вавилова и о травле советских генетиков в «эпоху облысения», то есть диктатуры Лысенко, о чем, конечно, никто тогда не говорил.

Вечер шел по-казенному нудно, пока не объявили следующего выступающего: друг Холдейна Тимофеев-Ресовский. Из глубины зала на сцену зашагал, «набычившись», коренастый, могучего телосложения мужчина, с большой головой, увенчанной гривой седых волос, — и разом обратил на себя взгляды всех присутствующих. Зубр, а это был он, заговорил зычным басом, под стать сложению, — как мне сообщил потом сидевший в радио-автобусе «Тонваген» оператор, стрелка децибел то и дело зашкаливала. А говорил он поразительные вещи. «Я люблю англичан за юмор и отсутствие *bestia serius*, что в переводе с латыни означает, — тут он обвел глазами зал и, выдержав паузу, изрек, как припечатал, — звериной серьезности». Было ясно, кого он имел в виду — устроителей того вечера, да и вообще всех совковых бюрократов.

Далее Зубр поведал о наличии у Холдейна не только доброкачественного юмора, но и энциклопедических знаний во многих областях науки и искусства, наряду с поэтическим даром. Что до юмора, то «даже на смертном одре он в стихах смеялся над своей болезнью», — заметил Зубр и прочитал юмористические строчки на прекрасном английском языке, а потом в собственном переводе: (I wish I had a voice of Homer / to sing a rectal carcinoma) («Будь я Гомером, а не гномом, как я воспел бы карциному!»). Имелся в виду тот факт, что от рака погибло гораздо больше славных людей, нежели при взятии воспетой Гомером Трои.

По словам ЭнВе, его английский друг ненавидел бездеятельность и всяческую рутину. Так, во время Первой мировой войны его изводило долгое сидение в окопах — от нетерпения лейтенант Холдейн не раз поднимался в атаку, увлекая за собой солдат. И в конце концов получил тяжелое ранение. Лежа в госпитале, Холдейн в бреду, очевидно, видел ангелов, поскольку, придя в себя, сразу же переключился на расчет потребной ангелу силы мышц для поддержания полета. Выяснилось, что при тонких птичьих ножках ангелу надлежало иметь для этого «грудь колесом», то есть толстенный мышечный слой, выступающий вперед наподобие горба. Зубр говорил об этом так подчеркнuto серьезно, без улыбки, что публика невольно расхохоталась.

Далее ЭнВе отметил, что Холдейн, сделавший немало открытий, любил повторять: любое открытие — начиная с огня и колеса — обязательно прищемило хвост какому-нибудь божку. Для своих открытий он не ждал прижизненного признания — их и в самом деле оценили по

достоинству лишь десятилетия спустя. Холдейну, кстати, принадлежит авторство термина «клонировать», прочно вошедшего ныне в русский язык.

Меж друзей и коллег Холдейн славился нездешним умением в каждый данный момент времени заниматься не тем, чем следовало, что положено по плану. Зубр восторженно изложил несколько примеров непредсказуемых увлечений своего друга из разных областей науки, на основании чего сделал вывод: «Настоящему крупному ученому свойственно заниматься не тем, чем велят, а тем, что больше всего увлекает его в данный момент. И уж точно незачем возиться с тем, что все равно потом сделают немцы».

Интервью

Меня на тот момент целиком увлек сам Зубр, ибо лучшего рассказчика, более искусного по остроумию и артистизму, мне до той поры слышать не доводилось. Неудивительно, что едва закончилась официальная часть, я бросился к нему с микрофоном и успел-таки записать его личные воспоминания об Англии, где Зубр бывал в 30-е годы, и добрые пожелания английским друзьям и коллегам, из которых мне запомнился выдающийся зоолог Джулиан Хаксли, брат великого писателя Олдоса Хаксли.

В то время запись проводили на скорости 76 см в секунду, расходуя пленку в огромных количествах; вот и мне оператор выдал две огромные бобины, которые надлежало переписать для расшифровки и монтажа, а после выхода передачи в эфир вернуть — эту бесценную пленку! — для размагничивания и повторного использования. Не бывать этому, решил я, и отправился за советом к приятелю в отдел науки. Когда я произнес имя Тимофеева-Ресовского, он не поверил:

— Невероятно, он никому еще не давал интервью! Да ты понимаешь, кто такой Тимофеев-Ресовский? Это же человек-легенда! Люди науки со всей страны тянутся к нему на семинар в Миасово — это городок на Урале, поглядеть на него и послушать...

Ничего этого я не знал, а пленку попросил забрать под ответственность отдела науки. «Да я тут же поставлю ее в «золотой фонд» на вечное хранение», — заверил меня мой приятель. Через месяц мы столкнулись с ним на улице, и я хотел заговорить, но он как-то стыдливо отводил глаза.

— Размагнитили твоё интервью, — наконец выдал он из себя с оттенком горечи. — Главлит (цензурное ведомство в СССР — А.М.) нашел его в «черных списках».

— Как же так — Тим ведь известный, уважаемый ученый? — поразился я.

— Уважаемый? Он отсидел в лагере за пособничество немцам. Во время войны, сказали мне люди знающие, работал на Гитлера — руководил в Германии целым институтом.

На войне с немцами погиб мой отец, и не было в мире нелюдей более мне ненавистных — вот почему эта новость прозвучала тогда для меня так страшно, что я решил забыть о Тимофееве-Ресовском. Но не забылось — не помню уж, как и почему спустя несколько лет я упомянул о той размагниченной записи в разговоре с моим другом детства, защитившим диссертацию по биологии. Друг неожиданно возмутился и принялся крыть советскую цензуру последними словами. Оказалось, и он, и его жена считают себя учениками Зубра и перед ним преклоняются.

— А как же институт в фашистской Германии во время войны?

— ЭнВе плевал на фашистов ничуть не меньше, чем на сталинистов. Он и в Германии оставался самим собой, свободным человеком, больше того, проявил себя героем, о чём из скромности умалчивает.



Н.И. Вавилов, Т.Г. Морган и Н.В. Тимофеев-Ресовский
Слева-направо: Н.И. Вавилов, Т.Г. Морган и Н.В. Тимофеев-Ресовский на IV Международном генетическом конгрессе в Итаке, США. 1932 г. Фото из архива Российской академии наук.

В Германии

Я многое узнал от моего друга-океанолога о Зубре задолго до того, как вышла в свет повесть Гранина. Для тех, кто не читал ее, перескажу пунктирно основные, этапные события его жизни. Он родился в дворянской семье, родословная его матери, урожденной Всеволожской, прослеживается до эпохи Киевской Руси и включает нескольких деятелей первого ряда в истории России, таких как адмиралы Невельский, Нахимов и Всеволожский. Дед и отец Зубра были выдающимися путейскими инженерами, построившими тысячи километров железных дорог. Зубр закончил гимназию перед самой революцией, участвовал в Гражданской войне, а по её окончании поступил в Московский университет, где попал в круг учеников и преемников основателей российской генетики Николая Константиновича Кольцова и Сергея Сергеевича Четверикова.

Н.И. Вавилов, Т.Г. Морган и Н.В. Тимофеев-Ресовский

В 1925 г. ЭнВе. направляют в Германию (по некоторым сведениям, наладить исследования мозга В.И.Ленина), и там он основывает отдел генетики и биофизики при Институте исследований мозга в берлинском пригороде Бухе. Его труды высоко оценили коллеги на Западе — от них регулярно следовали приглашения на конгрессы генетиков в США, Англию, Голландию. Однако чаще всего ЭнВе приезжал в Данию, где стал активным участником семинара ученых, организованного великим физиком Нильсом Бором.

Все годы работы ведущим сотрудником исследовательского института в Бухе, то есть целых 20 лет, Зубр сохранял советское гражданство. Стал невозвращенцем, когда, по настоянию своего учителя Николая Кольцова и ряда друзей-ученых, отказался вернуться в СССР в страшные годы сталинского террора. А если бы вернулся, как предлагалось, в 1937-1938 гг., то неминуемо угодил бы под расстрел, как два его брата, либо его ждала бы смерть от истощения в лагере, подобно участи Николая Вавилова.

Во время Второй мировой войны Зубр помогал бежавшим военнопленным — русским, французам, англичанам. Он спасал еврейских ученых, которых по фальшивым удостоверениям личности устраивал на работу в своем институте. Почему нацисты его не арестовали? Скорее всего, потому что он был всемирно известным ученым, того же масштаба, что и выдающийся физик Макс Планк, вставший в открытую оппозицию к фашистскому режиму. По аналогии можно сказать, что ведь и Сталин не тронул Петра Леонидовича Капицу, ученого с мировым именем, «неблагонадежные» взгляды которого были ему хорошо известны... Старший сын Зубра, Дмитрий, подававший надежды ученый-физик, примкнул к подпольной антифашистской организации, был схвачен гестаповцами и погиб в лагере Маутхаузен.

Возможно, Зубр отказался от приглашения на работу в США как раз из-за того, что до последнего дня ждал вестей о спасении сына. А может статься, рассчитывал на изменения к лучшему в послевоенном Советском Союзе.

Изгой

В 1945 году институт Тимофеева-Ресовского в полном составе, включая немецких ученых, был переправлен в Россию и засекречен. Заместитель министра МВД Авраамий Павлович Завенягин обещал Зубру сделать его руководителем исследований и разработок по методам защиты от радиационной опасности — области в то время мало исследованной и срочно востребованной в связи с запланированными испытаниями атомной бомбы. Но замминистра предлагал, а верховный тиран располагал: грянула новая вспышка сталинского террора, при котором одно карательное ведомство не ведало, что вытворяет другое. ЭнВе был арестован и два года провел в тюрьмах и в Карлаге в Казахстане, прежде чем тот же Завенягин, под градом запросов от немецких ученых, не нашел его в лагерной больнице умирающим от пеллагры.

Когда Зубр чудом выздоровел, его направили работать сначала в «шарашку», потом в засекреченный институт на Урале. И только в 1964 году предоставили ему дом и работу в известном исследовательском центре в Обнинске, недалеко от Москвы. В том же году я и записал для радио его выступление.

Своей миссией Зубр считал возрождение российской генетики, у истоков которой стояли его учителя Кольцов и Четвериков. Но вот беда: в послевоенном Советском Союзе говорить в открытую об этой «лженауке», ныне безусловно и всемирно признанной, можно было разве что в тюремной камере. Своей «тюремной привилегией» Зубр воспользовался сполна, прочитав сокамерникам популярные лекции — о них упоминает А.Солженицын в «Архипелаге Гулаг». Сам ЭнВе рассказывает об этой поре в своей жизни следующее:

«В Бутырках у нас участвовало (в коллоквиуме — А.М.) человек семнадцать... Биолог один я. Четыре физика, четыре инженера, два энергетика и один экономист. Я там читал доклады о биофизике ионизирующих излучений, о хромосомной теории наследственности, о копенгагенских общеметодологических принципах. Затем физики читали о своей науке. Из семнадцати человек живы остались Каган и я»¹.

Уже и зачисленный на работу в засекреченный институт, он не мог, тем не менее, оставить просветительскую деятельность — и учредил летний семинар на биологической станции, в Миасово, на берегу озера, окруженного Ильменским заповедным лесом. Именно туда устремлялись «самые лучшие и талантливые» за современным, истинным знанием в биологической науке.

Немудрено, что расспрашивать ЭнВе о догмах Лысенко и Мичурина никто не осмеливался. Уж кто-кто, а Зубр с его всегдашней прямоотой и правдивостью не скрывал своего презрения к адептам этих псевдобинологических теорий. Запись хранит его ответ по поводу запрета упоминать эти имена на своем семинаре: «А можете вы себе представить, чтобы современный клиницист на научной основе всерьез спорил с мордовской знахаркой? Вся эта белиберда была названа мичуринской биологией, в отличие от немичуринской, научной биологии, значит, прочей, настоящей биологии. До того избито уже, изжевано, что об этом и говорить не стоит, даже всерьез чихнуть не стоит».

Зато не составляет труда представить себе ту ненависть, с какой реагировали на его высказывания в стане Лысенко и его присных, надолго захвативших командные позиции в советской биологической науке и практике. На Зубра летел в КГБ донос за доносом и, увы, делал своё черное дело: в Обнинске, например, местные самодуры распорядились прекратить домашние вечера у Зубра, сугубо отданные искусству. Человек широчайшей эрудиции в поэзии,

живописи и музыке, Зубр не только читал лекции, но и выступал на этих вечерах как певец. Он обладал роскошным, сильным басом профундо, то есть самым низким голосом, и в молодости удостоился петь в нескольких профессиональных хорах, как в России, так и в Германии. К тому же он хранил в памяти бесконечное множество стихов и старинных русских романсов.

Реабилитация

«Тоска по мировой культуре», научная и житейская честность делали ЭнВе изгоем для любого начальства. Даже в 1980 году, всего за несколько месяцев до его смерти, киношные бонзы приказали Елене Саканян вырезать его выступление из документального фильма о XIV Международном конгрессе генетиков: Зубр по-прежнему фигурировал в «черных списках». И тут нельзя не отдать должное режиссеру, которая сумела сохранить до лучших времен запрещенные киноленты.

Её жгучий интерес к личности Зубра не случаен, она-то как раз его ученица в самом прямом смысле, ибо еще студенткой биофака Московского университета слушала его лекции задолго до прихода в кино. А после смерти Зубра ринулась вместе с другими учениками ЭнВе в яростную многолетнюю борьбу за официальную реабилитацию, которая открывала путь к созданию фильмов и книг о любимом учителе.

Большую помощь им оказали немецкие ученые, кто непреложно свидетельствовал, что Зубр в своем институте занимался исключительно фундаментальной наукой и не шел на сотрудничество с нацистами ни в медицинских экспериментах над людьми, ни в работах по созданию атомной бомбы. Именно в этих смертных грехах обвиняли Зубра завистливые коллеги-«патриоты», которые без устали строчили анонимные доносы и клеветали на него в печати, скажем, в одиозном журнале «Наш современник». В суровой и жестокой реальности ЭнВе проявил высшее мужество, наотрез отказавшись служить нацистам, даже когда за согласие ему обещали не отправлять сына в концлагерь.

Возвращать Зубру честное имя пришлось в упорной многолетней тяжбе с официозом вплоть до 18 октября 1991 года — в этот день он был, наконец, официально реабилитирован. Все эти годы камарилью врагов Зубра возглавлял его коллега-генетик академик Николай Петрович Дубинин, выведенный в повести Гранина под инициалом «Д». В личной беседе с писателем Д признался в ненависти к Тимофееву-Ресовскому за острый язык, за насмешки, за непочтение к авторитетам. В свою очередь, ЭнВе с готовностью прощал Д его «звериную серьезность» и, даже будучи осведомлен о доносах, продолжал с ним работать, считая его небездарным, дельным ученым. Что же до регалий, то показательно в этом смысле, что академии шести стран мира избрали Тимофеева-Ресовского почетным членом. Но только не Академия наук СССР. Не то чтобы Зубра оно как-то тревожило — он по натуре стоял всегда выше интриг вообще и необходимых для титула советского академика подтанцовок, в частности. Ему гордость не позволяла выпрашивать себе реабилитацию ценой заискиваний, искать расположение гебистов напоминаниями о спасении евреев, своей помощи военнопленным, антифашистской борьбе сына.

Зубр исповедовал высочайшие моральные ценности. С одной стороны, последовательный дарвинист, он, с другой, был верующим человеком. Считал, что зло относительно, а добро абсолютно, и на этом принципе зиждется надежда на бессмертие души. Он учил, что «хорошие люди ныне в дефиците, они должны размножаться, и долг нашего поколения — стараться передать все лучшее следующему поколению».

Прекрасно описывает реакцию молодых ученых на лекции Зубра его ученик Симон Шноль²: «Николая Владимировича слушали, как слушают истощенные узники человека с воли. Какой забытый русский язык! Риторические фигуры, логика, интонации, метафоры. А главное — свобода. Свобода и глубина мысли, оценок и суждений. У меня возникло и на долгое время

осталось ощущение ожившего ископаемого. Перед нами был человек России прежней, России до 1914 года». То же отмечает и Гранин в своей повести, название которой символично: зубры в России истреблены, хотя в заповедниках еще и встречаются бесценные одиночные особи.

Я профан в биологии, и не мне оценивать вклад Тимофеева-Ресовского в науку. Знаю только, что его главнейшее открытие — измерение размера гена — лежит в основе современной молекулярной биологии. При всём том мне вполне понятны его взгляды на взаимоотношения человека с живой природой, или биосферой. Зубру принадлежит хлесткое метафорическое высказывание о том, что «природа напоминает девицу, которая хочет отдаться по любви, а ее непрестанно хотят изнасиловать».

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский со студентами



Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский со студентами

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский со студентами

В его лекциях приводятся интереснейшие примеры того, как неосмотрительность вредит биосферному равновесию и подчас оборачивается сущей бедой. Вот англичане, к примеру, завезли в Австралию свои знаменитые розы, и всё бы хорошо, но оказалось, что в новом ареале, розы быстро поедаются тлей одного из местных видов, не имеющей естественных врагов. Чтобы восстановить равновесие, в Австралию завезли божьих

коровок, которые стали пожирать тлю. Правда, размножались божьи коровки медленно, потому что их склевывали австралийские птицы. К несчастью, с кроликами подобный эксперимент, как известно, не получился, даже завезенные в Австралию дикие собаки динго не стали для них серьезными врагами. И до сих пор справиться с этим бедствием — безудержным размножением кроликов — австралийцы бессильны.

ЭнВе оптимистично смотрел на будущее человечества: научившись разрешать проблемы равновесия в биосфере, считал он, человек сможет по своему усмотрению изменять и улучшать биологические сообщества, что в конечном счёте приведет к десятикратному увеличению продуктивности Земли.

С другой стороны он с пессимизмом относился к перспективе установления демократического общества в Советском Союзе — стране, которая, по его словам, «перенесла совершенно фантастический ущерб в человеческом интеллекте». Ему принадлежит весьма мрачное предвидение 35-летней давности, остро актуальное и поныне: «Вы представляете, что будет, если у нас вдруг демократия появится? Действительно, народные массы... им будет дана возможность на самоуправство. Ведь это же будет засилье самых подонков демагогических... Прикончат какие бы то ни было разумные способы хозяйствования, разграбят все, что можно, а потом продадут Россию по частям».

К его пророчеству стоило в свое время прислушаться хотя бы потому, что этот провидец, родившийся за 18 лет до революции, много повидал на своем веку — поездил по западным и

восточным странам, пережил три войны, до самых глубин познал не только биологию, но и социологию, и психологию, а главное — испытал на себе все ужасы как гитлеровского, так и сталинского режимов. Я прочитал немало высказываний выдающихся людей о Зубре и в заключении хочу привести слова Александра Меня, который исповедовал ЭнВе перед смертью:

«Размах его мысли, размах его интересов, юмор — что-то богатырское, и можно понять, что именно такой человек способен был пройти столь сложную жизненную дорогу и сохранить не только человеческое достоинство, а раскованность, свободу, полноту»³.

¹ — Виктор Каган — физик, упоминающийся в «Архипелаге Гулаг» Солженицына, написал воспоминания о Тимофеев-Ресовском.

² — Шноль Симон Эльевич — выдающийся биофизик, биохимик, профессор МГУ. Рецензию И. Чайковской на документальный многосерийный фильм о нем читайте в «Чайке» №2 за 2012 г.

³ — Н.В. Тимофеев-Ресовский. Воспоминания: Москва, Согласие, 2000 стр. 793.

Отзывы

Оставлен От редакции птн, 09/14/2012 - 19:25

В своем блоге Азарий Мессерер пишет:



На мою статью [«Незабываемая встреча с Тимофеевым-Ресовским»](#), опубликованную в 14 номере «Чайки» (16-31 июля 2012 года), пришло несколько отзывов.

Владимир Музыкантов:

Очень хорошая статья. Несмотря на то, что я читал и Зубра, и Шноля, и знаю о Тимофееве-Ресовском из других источников, мне было интересно ее читать. Особенно интересно проводить параллели с современностью — с нынешним состоянием дел в России и в науке. К сожалению, контекст биомедицинских исследований, где лидером еще остаются США, изменился по сравнению с Европой прошлого века: жизненное пространство для лидеров большого масштаба, преследующих собственные стратегические (или вдохновенные) цели и ведущих серьезную научную педагогическую деятельность, неуклонно сокращается. Низкопробная «наука» размножается в геометрической прогрессии, и ресурсов для фундаментальных исследований катастрофически не хватает. Конкуренция потрясающая, о науке как джентльменском поприще скоро придется забыть. Подавляющее большинство успешных (а это значит, талантливых и упорных) лидеров идут на компромиссы и занимаются тем, что обещает быстрый успех и финансирование. Вот и я, сейчас вместо того, чтобы пойти на поводу у своего профессионального либи́до и сформулировать многочисленные мысли по этому поводу, вернусь к написанию очередного гранта...

Vladimir Muzykantov, MD, PhD,
Professor of Pharmacology and Medicine
Vice-Chair, Department of Pharmacology
Director, Center for Targeted Therapeutics
Translational Nanomedicine, ITMAT/CTSA
Translational Research Center
University of Pennsylvania

Евгения Каценеленбоген:

Это было в 1977 или 1976 году в Филадельфии. Мой муж, профессор Пенсильванского университета Арон Каценеленбоген, познакомил меня с американским профессором кафедры биологии и просил помочь ему. К сожалению, я запомнила его фамилию. Он хорошо говорил по-русски и вернулся из двухнедельной поездки в СССР, где все время посвятил беседам с Тимофеевым-Ресовским, который жил в ста километрах от Москвы. Он записал эти беседы на магнитофон и привез кассеты с собой. Вот эти кассеты он и просил меня «скатать», то есть прослушать и записать все разговоры на бумаге. Что я и сделала, вернув ему напечатанный на машинке текст. Дальнейшая судьба этих записей мне неизвестна. Думаю, что они были изданы в США.

Азарий Мессерер:

К сожалению, мне трудно было найти фамилию этого ученого и его публикацию, так много статей и книг на Западе было издано о Тимофееве-Ресовском. Однако в английском варианте Википедии мое внимание привлекла похожая информация о том, что Макс Дельбрюк, бывший сотрудник Зубра по институту в Бухе, приезжал в Россию вскоре после получения им Нобелевской премии в 1969 году. Он добился этого визита, узнав, что Тимофеева-Ресовского не

выпускали за границу как нереабилитированного бывшего заключенного. Дельбрюк неофициально встречался с Зубром и всячески пытался через советских коллег передать просьбу американских ученых об облегчении тяжелых жилищных и материальных условий у Тимофеева-Рессовского, но советские власти отказались рассмотреть его просьбу.

И.Френкель:

Дорогой Азарий! Спасибо за новую интересную статью. Она перенесла меня во времена моей молодости, когда мы, молодые киевские ученые, занимались прикладной кибернетикой, бывшей ранее, по мнению некоторых наших наставников, «продажной девкой империализма». Поэтому мы с огромным интересом узнавали о таких личностях, как Зубр, герои Дудинцева, Маринеску. Каждый из нас хотел быть на них похожим. Журналы зачитывались до дыр! Тимофеев-Рессовский мне тем более интересен еще и потому, что он долгое время жил в моем городе и любил его. Вот отрывок из его мемуаров, в котором он очень ярко описывает свои ученические годы в киевской гимназии.

Тимофеев – Рессовский в Киеве.

В Киеве мы сперва жили на Терещенковской улице, 23, против Николаевского парка. На одной его стороне проходит Караваевская улица, где университет. По другую сторону проходила Терещенковская улица, на которой мы жили. Справа, ежели смотреть от Софийской площади, с той стороны Киева — Бибикивский бульвар, где располагалась наша, очень известная в России, Императорская Александровская первая киевская гимназия, где Паустовский учился, Булгаков, я сам и другие крупные люди. Я начал там учиться с третьего или четвертого класса. А потом мы жили на Большой Житомирской, 8, в доме, принадлежавшем такому сахарному миллионеру Шелюжко. Как миллионер он был мне совершенно неинтересен, но мы были большими друзьями, несмотря на то, что он был, наверное, раза в четыре старше. Он был владельцем знаменитой разводни Шелюжки в Киеве на Львовской улице. Это продолжение Большой Житомирской. Это были две больших оранжереи застекленных, бетон и стекло. С бассейнами, аквариумами и всякой штукой. Это была самая крупная рыборазводня аквариумных рыбок в мире, больше гамбургских рыборазводен. Главными импортерами в то время были гамбургские рыбодовы. Ну, и потом Шелюжко в их компанию тоже вошел. А я в молодости, и с детства даже, увлекался аквариумами. У меня бывало до 35-40 аквариумов одновременно. Рядом с рыборазводней Андрея Ивановича Шелюжко на Львовской, 45 находилось также киевское отделение Общества любителей растений и аквариумов, секцию аквариумов которого возглавлял Л.А. Шелюжко, сын сахарозаводчика.

Киев того времени, предвоенных лет, между 10-м и 14 годами, был городом очень интересным. В России это был, пожалуй, один из таких передовых в смысле цивилизации городов. Прекрасный трамвай был проведен в Киеве довольно давно.

(Собственником киевского трамвая был купец, коммерции советник Давид Семенович Марголин. Я знаю о нем из воспоминаний моего отца, Семена Львовича Мандельבלата, который дружил с зятем Марголина, Павлом Петровичем Нейштубе. Павлуша много рассказывал о своей молодости и о своем первом браке с Марголиной. И,М,)

В самом начале века большинство домов, имевших более трех этажей, были снабжены лифтами. Была хорошая телефонная сеть. Киев славился тогда на всю Россию прекрасной организацией работы пожарных частей, скорой помощи. Одним словом, в смысле городской жизни он был очень цивилизованным городом, с одной стороны, и, с другой стороны, для России он был представителем больших южных городов. Это был, ежели хотите, самый северный южный город, большой город в России: Киев, Екатеринослав, Одесса. Харьков уже был менее типичен. Может быть, ближе был Ростов-на-Дону. Но, пожалуй, наиболее такими своеобразными, имевшими свое лицо городами русскими были тогда на юге Киев и Одесса.

В Киеве жизнь была относительно веселой, немножко напоминавшей за границу. Очень оживленны были с весны до поздней осени кафе, большие кафе. Как только тепло, выставлялись столики под тентами на широких киевских тротуарах, и в этих кафе протекала, собственно, довольно типичная такая европейская уличная жизнь. В знаменитых кофейнях Семадени сидели иной раз часами какие-то деловые люди и занимались, по-видимому, коммерческими делами. С другой стороны, сидела

молодежь — студентки, курсистки — веселилась, разговаривала, кокетничала. То, чего в Москве, в Петербурге и во всех больших городах, более северных, в России дореволюционной, в сущности, не было.

Интересна была и гимназическая жизнь. Несмотря на то, что Киев был отнюдь не какой-то глухой провинцией, а третьим по величине городом в дореволюционной России, очень типична была школьная гимназическая жизнь в том смысле, что каждая гимназия, коммерческое или реальное училище, многие высшие и начальные городские училища имели своеобразные, иногда немножко чудные традиции. Одни гимназии состояли в дружбе, другие — в традиционной вражде. Например, в Николаевском парке, ныне парк Шевченки кажется, с одной стороны находилась наша Первая гимназия, Императорская Александровская, с другой стороны, прямо напротив, кажется, Императорское коммерческое училище. По традиции, особенно зимой, по снегу, в Николаевском парке по субботам после уроков происходили кулачные бои между нашей гимназией и Коммерческим училищем. Это, конечно, было предприятие, связанное с целым рядом мероприятий по защите от начальства гимназического и коммерческого и от полиции. Потому что, конечно, начальство все это не одобряло. Но проводились настоящие стычки по всем старинным правилам, с запретом набирать пятаки в кулак и с определенными правилами, куда можно и куда нельзя бить. И эти бои проходили настолько интенсивно, что иногда мне после таких боев приходилось часик-другой где-нибудь оттираться снегом и в парке отлеживаться перед тем, как возвращаться домой, чтобы очень уж не бросалось домашним в глаза то состояние, в котором мы после таких боев находились.

Но некоторые гимназии друг с другом дружили. И вообще в поведении гимназистов и школьников на улицах, в парках — всюду в Киеве — по традиции сохранялось «лыцарство», как говорилось, рыцарство своего рода. Например, мы идем втроем — встречаем четырех «коммерсантов». Мы могли задрать их и начать небольшую свалку или драку, но они не могли, потому что их было четверо, а нас трое. На их стороне было большинство, и это считалось бы не рыцарским поведением: задирать, так сказать, более слабую сторону.

Было одно исключение. Все школы рыцарски относились друг к другу более или менее, за исключением частной гимназии Науменки. Это была частная привилегированная гимназия, в которой учились главным образом дети богатых родителей, так сказать буржуазии тогдашней. Они имели отличную от всех прочих гимназий форму — синюю такую. И вообще они несчастные были юноши, потому что их разрешалось бить в любой комбинации. Науменковцев можно было, ежели даже трое, а он один, все равно можно было ему морду набить. Так что они как бы вне закона стояли. Наверное, мы не любили все науменковцев за то, что они, во-первых, были передовые, во-вторых, богатые, в-третьих, какие-то такие чистенькие, холеные и вели себя соответственно — тихо и смиренно. Интеллигентные были мальчики.

А мы были шпана, конечно. У нас были и традиционные занятия, и более-менее рыцарские, и более такие, ну, что ли, некультурные. Учился я во времена знаменитого Кассо. При Кассо гимназисты находились на таком, значит, полувоенном положении: после восьми часов вечера на улицу выходить не имели права, к различным неполадкам в форме строжайшие были придирки. Ежели кушак не так надет или число пуговиц не соответствует положенному на рубашках или куртках, ежели по улице школьник идет с неряшливо заткнутой за пояс рубашкой, то так называемые классные надзиратели и их помощники могли остановить, записать, и потом происходили от этого всякие неприятности.

Никакого телесного наказания в наши дни, конечно, не применялось, но карцер существовал. Можно было получить карцер на один день, а можно было и на две недельки получить. Это не значит двухнедельная отсидка, карцер означал отсидку в течение трех часов по окончании уроков. Ежели карцер давался на неделю, то всю неделю каждый день нужно было три часа отсидеть в карцере. Ну, конечно, это была неприятная штука. На неделю, на две недели получали редко, за наиболее крупные преступления. Ну, так на день-два-три — это довольно часто можно было получить.

У нас, в нашей гимназии, процветал в мое время такой спорт. Назывался он «марафонский бег». После восьми, так около полдесятого-десяти вечера мы компанией, обыкновенно зимой, выходили на самые неположенные места, скажем, на Бибиковский бульвар, который был под полным запретом в вечерние часы для гимназистов. И там отыскивали какого-нибудь педеля — помощника классного надзирателя, по гимназической терминологии — коридорного наставника. Это были обыкновенно довольно бедные такие неудачники, по образовательному цензу не вытягивавшие в учителя, самая

низшая категория служащих министерства народного просвещения. По чину они были начиная с коллежского регистратора до коллежского секретаря: коллежский регистратор, губернский секретарь и коллежский секретарь — три самые низшие чина. Получали они небольшое жалование, были обыкновенно люди многосемейные уже и подрабатывали сверхурочные, дежуря на ловле гимназистов вечером на улице. Это называлось «систировать». Они должны были систировать нашего брата.

А мы вот, значит, собирались в самое неположенное время в неполенном месте небольшой компанией и выискивали такого педеля. Конечно, перед этим загибался значок на фуражке. Ведь на фуражке была такая кокарда из дубовых листьев с номером гимназии. Вот этот номер гимназии либо чем-нибудь закрывался, либо загибался так, чтобы просто по внешнему виду нельзя было определить, из какой гимназии. Надо сказать, что обращаться к полиции этим педелям было строжайше запрещено. Это было дело не полиции, а дело министерства народного просвещения. Они должны были управляться, как хотели, сами.

И вот мы выискивали такого педеля, так сказать, показывались ему целой компанией — человека четыре-пять... Ему, конечно, выгодно было систировать сразу небольшую компанию: всякий улов количественно определяется. Одно дело систировать одного, другое дело — сразу пятерых. Он, значит, за нами, а мы от него. Он наддает ходу, и мы наддаем ходу. Он притомится, замедлит шаги, и мы замедляем шаг. И помаленьку так идем в район, скажем, «круглый», университетский. Это была улица, которая таким винтом шла вверх от Караваевской, кажется, по кругу университетскому. Замедляем ход — он нас почти догоняет. Мы опять припускаем до какого-нибудь темного, совершенно пустынного бокового переулка, куда мы загибаем. И он загибает. Мы по команде скидываем шинели, кроем его шинелями и смертным боем бьем. Потом быстро свои шинели берем и удираем уже бегом.

Нам потом было жалко, конечно, этих несчастных коридорных наставников, зарабатывавших свои сверхурочные. Но, в общем, это повело очень быстро к тому, что они все-таки никогда своих гимназистов, из своих гимназий, не систировали. Так что это имело некоторое воспитательное значение для воспитателей. А воспитанники, нет, они не разлагались, потому что все-таки разложения нет. Бить начальство — это не разложение, а наоборот. Вот. А, как я вам уже докладывал, рыцарство, в основном, работало, и группу явно слабейшую и малочисленную бить не полагалось. Они могли, конечно, нападать. Ну, конечно, ежели задерут, то их можно было и побить, но более сильный не имел морального права первым нападать. Так что из этого уже видно, что жизнь была веселой в общем-то.

У меня от всех этих, казалось бы, реакционных сторон организации тогдашней гимназической жизни в Киеве не осталось каких-нибудь таких очень уж неприятных воспоминаний. Во всяком случае, я, положа руку на сердце, не могу считать это чисто отрицательным явлением. Ну, конечно, были со стороны глупых и бездарных учителей, гимназического начальства и так далее перегибы, часто, действительно, нехорошее отношение к ученикам, но это было редко, а чаще... Бывали такие случаи, что если, например, директор заметит в классе какое-нибудь либо слишком уж серьезное хулиганство, либо что-то нежелательное, скажем в кавычках — политическое, он этого официально не замечал, а потом при случае нам давал понять, что он заметил. И это, конечно, лучше всяких наказаний заставляло нас опять-таки ответственно относиться и к нашему хулиганству, и к затеям, которые, как мы знали, гимназистам не полагались. И затеи эти продолжались, но велись так, чтобы не подводить друг друга и не подводить и наше начальство.

Киевская гимназия была из лучших в некоторых отношениях, но вообще это была довольно-таки реакционная гимназия. Много было бездарных педагогов, но были и талантливые педагоги. Но талантливых было меньше, чем скучных и бездарных. Вот, например, у меня был очень замечательный учитель Павел Викторович Терентьев, такой немножко вечный студент Киевского университета. Он сперва почти кончил естественное отделение физико-математического факультета, а потом перешел на медицинский факультет и уже кончил его после нашего отъезда из Киева, после того, как мы переехали в Москву. Павел Викторович обладал замечательным свойством, нужным, собственно, всякому преподавателю: я был человек, так сказать, трудно поддающийся дисциплинированию, порядку и всяким приказам и наказам, но я не мог огорчить Павла Викторовича Терентьева. Я учился всегда прекрасно и выполнял все его указания, просто чтобы не огорчить его — настолько я уважал и любил Павла Викторовича Терентьева.

В Киеве, будучи гимназистом средних классов, я пристроился фуксом к только что организованной Днепровской биологической станции, которой заведовал тогда очень хороший зоолог

Беллинг, доцент, молодой тогда, Киевского политехнического института. Я работал на станции таким мальчишкой-препаратором в свободное время, в свободное не только от официального учения, но и от ухода за моими аквариумными рыбами, от собственных экскурсий и так далее. Времени мне тогда не хватало, действительно не хватало. Потом-то, выросши, я увидел, что все взрослые обыкновенно врут, когда говорят, что не хватает времени. У большинства людей времени больше, чем надобно, особенно потому, что большинство людей не умеют оставаться одни, сами с собой, поэтому они тратят время на совершенные пустяки, а мне действительно тогда еще, в детстве, не хватало времени из-за зоологии.

Так вот, на Днепровской биологической станции я препараторствовал и помогал по уходу за экспериментальными посудинами, в которых Беллинг разводил то, что ему нужно было в данный момент, и немножко привык к лабораторной обстановке. Тогда же я начал сам собирать коллекционный материал по карповым рыбам бассейна Днепра, собственно, не самого Днепра, а бассейна Десны, как известно, крупнейшего левого притока Днепра.

Тогда же я, будучи еще, в сущности, мальчишкой, гимназистом четвертого-пятого класса, уже дотрепался в своих зоологических разговорах с Беллингом до действительно интересной проблемы, сводящейся к тому, что в геологически сравнительно недавнее время какие-то были перепутаны, путаницы в притоках, в левых притоках верхней Десны, принадлежащей к днепровскому бассейну, а посему к бассейну Черного моря, и в левых притоках Оки, принадлежащих волжскому бассейну, а Волга, как известно, все еще впадает в Каспийское море, несмотря на то что сейчас прилагают все усилия, чтобы она больше никуда не впадала. Так вот, это, конечно, представлялось нам тогда, и мне, шибздику, представлялось очень небезынтересной проблемой: очень недавние связи между все-таки довольно различными по своим условиям, по своей водной фауне вообще и ихтиофауне в особенности волжским и днепровским бассейнами. Вот, собственно, Беллинг был первым моим учителем зоологии в Киеве.

Вот, теперь я хочу еще рассказать о нашем, ну что ли, культурном развитии в гимназическое время вне гимназии. В Киеве, в той компании, в которой я рос — отчасти это были гимназисты Первой гимназии, отчасти гимназисты из других гимназий, включая всеми презираемую Науменковскую гимназию, несколько человек оттуда были у нас, в нашей компании. Старшими среди нас были уже студенты первого курса и курсистки первого курса Высших женских... Насчет девушек — это вы не думайте. У нас в Киеве были, так сказать, конкуренции и вообще соревнования за хорошеньких гимназисток Фундуклеевской Мариинской гимназии. Она отличалась высоким процентом не только хорошеньких, но и настоящих красавиц. А я в жизни видел красавиц, и хорошеньких, и красавиц, и по-настоящему интересных женщин... Они вообще в мире не переводятся. Но почему-то Фундуклеевская Мариинская гимназия... Часть женских гимназий принадлежала ведомству императрицы Марии. Это были, пожалуй, в России лучшие женские гимназии, не министерские, а ведомства императрицы Марии, кажется, той императрицы XIX века, но не ручаюсь.

Так вот, значит, у нас были кружки в Киеве, довольно такие разнообразные по устремлениям и содержанию. Это были и компании, занимавшиеся более или менее совместно спортом. Например, наша компания совершала во все свободные урывки времени, но более или менее длинные, экскурсии и иногда даже небольшие экспедиции в окрестности Киева. Рано завелись велосипеды, которые, кстати, я презирал. Я в молодости, и особенно в юности, презирал всякую цивилизацию, как я ее называл, включая велосипеды. Я считал для себя, зоолога, охотника и лесного человека, так сказать, велосипед... Но этих фундуклеевских гимназисток я отнюдь не презирал. И когда устраивались совместные более или менее большие велосипедные экскурсии куда-нибудь за тридцать пять — сорок верст по Житомирскому шоссе на речку Ирпень или куда-нибудь еще, я петушком рядышком пробегал это расстояние. Тогда мне 13-14 лет было.

Так вот, я хочу сказать, что я в те времена здорово насобачился бегать. Житомирское шоссе, как известно, такими волнами — то вниз, то вверх. Вниз они меня на велосипедах, конечно, обгоняли, а в горку на велосипеде ехать, как известно, очень скучно, в горку я их обгонял. Но мы не состязались. Я просто без велосипеда вместе с ними куда-нибудь на Ирпень за тридцать пять верст убежал. Я еще вот десять лет тому назад, в возрасте почти 65-летнем... между прочим, Надежда Васильевна Реформатская не верила, не верила, а потом увидела это в Миассове¹², на Южном Урале: я играючи за лошадью в телеге, вернее впереди этой лошади, пробегал на так называемые дальние копи в заповеднике десять — двенадцать верст бегом, и обратно то же самое.

(В России с 1862г. наряду с казенными (министерскими) и частными существовали открытые всесословные женские гимназии, содержащиеся на средства государственной благотворительности. Они состояли при «Ведомстве учреждений имени императрицы Марии», начало которому было положено в 1797г. Марией Федоровной (1759-1828), супругой Павла I. Другая Мария Федоровна (1847—1928) — тоже царствовавшая особа, супруга Александра III, в свое время стояла во главе управления ведомством и способствовала созданию училищ для девушек низших классов. Гимназия, о которой рассказывает Н.В., располагалась на углу Фундуклеевской и Елизаветинской улиц.)

Ну, а кружки заключались в том, что мы в свободное время собирались и, смотря по сезону и по умонастроению, устраивали какие-нибудь экскурсии — экспедиции. Еще в совершенно, я бы сказал, полудетском возрасте у нас были претензии на серьезность и научность. Мы прямо, так сказать, исследовали какие-нибудь малоисследованные речки или лесные массивы, собирали коллекции, читали доклады по прочитанной литературе. Некоторые делали доклады литературоведческого, так сказать, порядка о каких-нибудь писателях или поэтах, кое-кто выступал, так сказать, по актерской линии: читал стихи. Мы были довольно передовые. Тогда, в 11, 12, 13, 14 годах, мы, конечно, главным образом увлекались символистами и акмеистами в русской поэзии: Блок, Белый, Бальмонт. С другой стороны, появился тогда Игорь Северянин со своими футуристическими стишками. Он, между прочим, как-то приезжал в Киев. Мы всем кружком ходили его слушать и немножко даже публично поиздевались. Кто-то из нас был неплохой рифмоплет и приветствовал его в виде весьма злого сатирического подражания ему в стихах.

Многие приезжали. Маяковский там шатался с каким-то подсолнечником в петлице. Я видел его на Крещатике с Бурдюками, с расписанными мордами. Ведь вы не забываете, Маяковского канонизировали и иконку из него сделали. А был обыкновенный хулиган-футурист. А потом Бурлюки... нюха истории у них было меньше, чем у Маяковского. Маяковский, значит, вышел в классики советской литературы и особенно поэзии: «Нигде кроме, как в Моссельпроме», так сказать... и «От всего старого мира мы оставим только папиросы «Ира»». Я не люблю очень Маяковского. И, надо сказать, никогда ни Бурлюками, ни Маяковским не интересовался, даже тогда уже как-то не принимал. И так осталось на всю жизнь. Я потом довольно серьезно интересовался поэтикой и поэтами. И до сих пор у меня убеждение, что это маленький человек, маленький поэт, вообще почти не поэт, а рифмоплет, который потом очень удачно рифмосплетал передовицу.

Значит, в этих кружках я и еще несколько человек занимались уже довольно рано довольно серьезной естественно-исторической работой. С 12-13-летнего возраста я был серьезным сборщиком биологического материала, главным образом птиц и рыб коллекционировал. Это были мои специальности в области позвоночных. И затем планктон: низшие ракообразные, водные блохи всякие, циклопы, дафнии... Вот такая штука. Вообще, я был преимущественно «мокрым» зоологом. Из птиц тоже всякую водоплавающую — дичь, чаек — всякую такую штуку любил. А прочих менее любил. Как у настоящего зоолога, у меня были любимые, были нелюбимые группы животных. У настоящих зоологов и настоящих ботаников всегда имеются любимые и нелюбимые систематические группы.

Мне очень помогало то, что с малых лет и до теперешнего времени у меня постоянно бывали периодические, иногда краткосрочные, иногда долгосрочные увлечения чем-нибудь. Я всегда говорил своим ученикам и молодым людям: «Плохо, когда человек теряет любознательность». Любознательность — великая вещь. Но, к сожалению, многие люди рано очень теряют любознательность, а у других заменяется... мужская любознательность женским любопытством. Любопытство — это порок. Есть даже (старинная русская поговорка: «Любознательность—доблесть мужчин, а любопытство — порок женщин»). Так вот я и тогда периодически увлекался всякой всячиной. И во время увлечений по довольно серьезной тогдашней научно-популярной литературе я соответствующие вопросы в меру сил, так сказать, осваивал. И это было мне, конечно, полезно для накопления того, что можно назвать ориентировочными знаниями.

Для людей, претендующих на какую-нибудь умственную деятельность, необходимой предпосылкой является некоторый достаточный минимум ориентировочных знаний об окружающем в разных направлениях. В этом отношении я всю жизнь наблюдал и сейчас наблюдаю, что вот ваш брат, гуманитарий, в невыгодном, по сравнению с нами, естественниками, положении оказывается. Я говорю, конечно, не о массовом человеке. Большинство ведь гуманитариев бесконечно менее образованы, чем

мы, и обладают значительно меньшим ориентировочным знанием. Это, конечно, остаток традиций XIX века, когда ведущим культурным уровнем были гуманитарные дисциплины.

Видите ли, в XX веке ситуация резко изменилась, резко изменилась, так сказать, физическая картина мира. Физическая картина мира XVIII–XIX веков была легко доступна любому человеку, даже скверному поэту. Скверный поэт, прослушав пару популярных лекций, мог уже представить себе физическую картину мира. В начале, в первой четверти XX века физическая картина мира резко изменилась. Я говорю не про прикладную часть: техника, «косметика» — летают в космос, электростанции строят... Это все прикладное, несущественное. Уже, так сказать, конечное приложение. А именно физическая картина мира резко изменилась. Сейчас мы, естественники, те из естественников, конечно, которые не просто какие-нибудь зоологи, ботаники, химики вонючие или там геологи ползучие, а люди, которые интересуются, работают, чувствуют себя в сфере современных естественнонаучных идей и современной научной картины мира, мы ведь находимся в совершенно ином положении. Сейчас и серьезные философские проблемы отнюдь не гуманитарные, а естественнонаучные и математические.

У вас, гуманитариев, до сих пор считается чистой философией, скажем, примитивный какой-нибудь материализм. Совершенно наплевать, это материализм диалектический или исторический, или, как это называется, грубый материализм, ведь это все чушь собачья, так же как и деление на материализм и идеализм, как деление на метафизику и на не метафизику. Ведь не только наши господа философы, но и многие «загармоничные» философы-профессионалы до сих пор думают, что существует метафизика. И существуют некие идеалистические системы философии, которые — не метафизика. А ведь это такая же метафизика, как и идеалистическая философия. Методологически не отличается от любой другой метафизики. Всякое философствование онтологического типа есть метафизика, метафизика. А сейчас современная естественнонаучная картина мира, она совершенно сближена и родственна философской метафизике, метафизике в общем смысле. Наша естественнонаучная картина мира ближе всего, пожалуй, к платонизму. Конечно, сейчас наша естественнонаучная картина мира с точки зрения примитивных, детских классификаций университетских профессоров-философов XIX, да и XX века, в общем, должна быть обругана «идеализмой». К счастью, мы тогда уже многое из этого понимали.

Я говорю, что мне повезло: я был младшим. И благодаря этому я имел возможность с помощью старших товарищей познакомиться со всем этим очень рано. Я еще не был в пятом классе, когда, так сказать, разбирался в философии. С другой стороны, мы вот спортом занимались, хотя я спорт презирал, как я уже говорил. Нет, футболистом был всерьез, а из прочего спорта... Однажды мне очень не повезло. Как раз в Киеве, на Днепре, был яхтклуб, а рядом спасательная станция. Станция Императорского общества спасания на водах. Так как я с детства плавал как рыба, то с 12–13-ти лет был членом этого Императорского общества спасания на водах. И весной в качестве гимназистика дежурил на спасательной станции. Ну, и вылавливал всяких дураков, которые топли. Особенно всяких девиц и молодых человек, которые пробовали романтику... Еще лед не прошел, а они на лодочке выплывали. А в лодочках, узеньких гребных лодочках, целоваться нужно очень умеючи. Это требует разработанной техники и опыта. И каждому дураку не дано. И вот много парочек таких опрокидывалось. Их потом, дураков, нужно было из крайне холодной воды вытаскивать. Вот это тоже было наше занятие.

А рядом с нами находился днепровский яхтклуб, у которого была очень сильная команда гребцов. Вы знаете, на подвижных лодках этих, узеньких? Прекрасная восьмерка. Она одно время была на первом месте в России, била и петербуржцев, и финнов. И вот обыкновенно на Днепре первая большая регата весной, еще не совсем сошла талая вода. Не помню, в 13-м, кажется, или в 14 году это было... Прямо перед состязанием, сходя по лестницам к причалу, один из дурачков из этой нашей восьмерки поскользнулся и сломал себе руку. И либо нашей знаменитой восьмерке выпасть из состязаний, либо что-то взамен. Так как я был приятелем всей этой компании, меня уговорили: «Ну, надо...» Грести я мог, но никогда спортом этим не занимался и презирал. И вот сел я на место этого дурака, который руку себе сломал. Так я до сих пор не помню, как меня на финише вытащили. Мы что-то на корпус или на два корпуса оказались все-таки впереди. Несмотря на меня, они выиграли. Но я думал, что помру. Ведь надо же в темпе и под водой весло протягивать. А это страшно трудно без тренинга.

- Кофейни Семадени находились на Крещатике, 15 и на Большой Васильковской, 12.
- На Бибиковском бульваре, 18 (на его пересечении с Большой Владимирской улицей) находилась Вторая мужская гимназия.
- Владимир Павлович Науменко — владелец одной из лучших в Киеве частных мужских гимназий, которая находилась на улице Б. Подвальная, 256.
- Лев Аристидович Кассо (1865—1914) — министр народного просвещения в 1910-1914 гг.).